

Антология

И О С И Ф Б Р О Д С К И Й

ИЗ ЦИКЛА: Осенний крик ястреба.

Шорох акации

Летом столицы пустеют. Субботы и отпуска
уводят людей из города. По вечерам — тоска.
В любую из них спокойно можно ввести войска.
И только набравши номер одной из твоих подруг,
не уехавшей до сих пор на юг,
насторожишься, услышав хохот и воланок,

и молча положишь трубку: город захвачен; строй
переменился: всё чаще на светофорах — "Стой".
Приобретая газету, её начинаешь с той
колонки, где "что в театрах" рассыпало свой петит.
Ибсен тяжеловесен, А.П.Чехов претит.
Лучше пойти пройтись, нагулять аппетит.

Солнце всегда садится за телебашней. Там
и находится Запад, где выручают дам,
стреляют из револьвера и говорят "не дам",
если попросишь денег. Там поет "ла-ди-да",
трепеща в черных пальцах, серебряная дуда.
Бар есть окно, прорубленное туда.

Вереница бутылок выглядит как Нью-Йорк.
Это одно способно привести вас в восторг.
Единственное, что выдает Восток,
это — клинопись мыслей: любая из них — тупик,
да на банкнотах не то Магомет, не то его горный пик,
да шелестящее на ухо жаркое "ду-ю-спик".

И когда ты потом петляешь, это — прием котла,
новые Канны, где, обдавая запахами нутра,
в ванной комнате, в четыре часа утра,
из овального зеркала над раковиной, в которой бурлит
моча,
на тебя таращится, скав рукоять меча,
Завоеватель, старающийся выговорить "ча-ча-ча".

Роттердамский дневник.

I

Дождь в Роттердаме. Сумерки. Среда.
Раскрыши зонт, я поднимаю ворот.
Четыре дня они бомбили город,
и города не стало. Города —
не люди прячутся в подъезде
во время ливня. Улицы, дома
не сходят в этих случаях с ума
и, падая, не призывают к мести.

II

Июльский полдень. Капает из вафли
на брючину. Хор детских голосов.
Вокруг — громады новых корпусов.
У Корбюзье то общее с Лютваффе,
что оба потрудились от души
над переменой облика Европы.
Что позабудут в ярости циклопы,
то трезво завершат карандаши.

III

Как время ни целебно, но кулья,
не видя средств отличия от цели,
саднит. И тем сильней — от панацеи.
Ночь. Три десятилетия спустя,

мы пьем вино при крупных летних звездах
в квартире на двадцатом этаже —
на уровне, достигнутом уже
валетами здесь некогда на воздух.

Роттердам, июль 1973г.

Война в убежище Киприды

с

Смерть нотупает в виде пули из
магнолиевых зарослей, попарно.
Взрыв выглядит как временная пальма,
которую раскачивает бриз.

Пустая вилла. Треснувший фронтон
со сценами античной рукопашной.
Пылает в море новый Фаэтон,
с гораздо меньшим грохотом упавший.

И в позах для рекламного плаката
на гальке раскаленной добела
маячат неподвижные тела,
оставившие загорать после заката.

21 июля 1974 г.

ИЗ ЦИКЛА: К УРАНИИ

Письма династии Минь

I

"Скоро тринадцать лет, как соловей из клетки вырвался и улетел. И, на ночь глядя, таблетки богдыхан заливает кровью проштрафившегося портного, откидывается на подушки и, включив заводного, погружается в сон, убаюканный ровной песней. Вот какие теперь мы празднуем в Поднебесной невеселые, нечетные годовщины.

Специальное зеркало, разглаживающее морщины, каждый год дорожает. Наш маленький сад в упадке. Небо тоже искалого шилями, как лопатки и затылок больного (которого только спину мы и видим). И я иногда объясняю сыну богдыхана природу звезд, а он отпускает шутки. Это письмо от твоей, возлюбленный, Дикой Утки писано тушью на рисовой тонкой бумаге, что дала мне императрица.

Почему-то вокруг все больше бумаги, всё меньше риса".

II

"Дорога в тысячу ли начинается с одного шага, гласит пословица. Жалко, что от него не зависит дорога обратно, превосходящая многократно тысячу ли. Особенно, отсчитывая от "о".

Одна ли тысяча ли, две ли тысячи ли – тысяча означает, что ты сейчас вдали от родимого крова, и зараза бессмыслинности со слова перекидывается на цифры; особенно на ноли.

Ветер несет на Запад, как желтые семена
из лопнувшего стручка, — туда, где стоит Стена.
На фоне её человек уродлив и страшен, как иероглиф;
как любые другие неразборчивые письмена.
Движение в одну сторону превращает меня
в нечто вытянутое, как голова коня.
Силы, живущие в теле, ушли на трение тени
о сухие колосья дикого ячменя".

Стихи о зимней кампании 1980-го года

"В полдневный зной в долине Дагестана"

М.Ю.Лермонтов

I

Скорость пули при низкой температуре
сильно зависит от свойств мишени,
от стремления согреться в мускулатуре
торса, в сложных переплетеньях шеи.
Камни лежат, как второе войско.
Тень вжимается в суглинок поневоле.
Небо — как осыпающаяся известка.
Самолет растворяется в нем наподобье моли.
И пружиной из вспоротого матраса
поднимается взрыв. Брезгающая воронкой
как сбежавшая пенка, кровь, не успев впитаться
в грунт, покрывается твердой пленкой.

II

Север, пастух и сеятель, гонит стадо
к морю, на Юг, распространяя холод.
Ясный морозный полдень в долине Чечмекистана.
Механический слон, задирая хобот
в ужасе перед черной мышью
мины в снегу, изрыгает к горлу

подступивший комок, одержимый мыслью,
как Магомет, сдвинуть с места гру.
Снег лежит на вершинах; небесная кладовая
отпускает им в полдень сухой избыток.
Горы не двигаются, передавая
свою неподвижность телам убитых.

III

Заунывное пение славянина
вечером в Азии. Мерзнувшая, сырая
человеческая свинина
лежит на полу караван-сарай.
Тлеет кизяк, ноги окоченели;
пахнет тряпьем, позабытой баней.
Сны одинаковы, как шинели.
Больше патронов, нежели воспоминаний,
и во рту от многих "ура" осадок.
Слава тем, кто не поднимая взора
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отчество от позора!

IV

В чем содержанье жужжанья трутня?
В чем – летательного аппарата?
Жить становится так же трудно,
как строить домик из винограда
или – карточные ансамбли.
Все неустойчиво (раз – и сдуло):
семьи, частные мысли, сакли.
Над развалинами аула
ночь. Ходя под себя мазутом,
стынет железо. Луна от страха
потонуть в сапоге разутом
прячется в тучи, точно в чалму Аллаха .

У

Праздний, никем не вдыхаемый больше воздух.
Взвезенная, сваленная как попало
тишина. Растиная, как опара,
пустота. Существуй на звездах
жизнь, раздались бы аллодисменты,
к рампе бы выбежал артиллерист, мигая.
Убийство – наивная форма смерти,
тавтология, ария попугая,
дело рук, как правило, цепкой бровью
муху жизни ловящей в своих прицелах
молодежи, знакомой с кровью
понаслышке или по ломке целок.

УІ

Натяни одеяло, вырой в трухе матраса
ямку, заляг и слушай "уу" сирены.
Новое оледененье – оледененье рабства
наползает на глобус. Его марени
подминают державы, воспоминанья, блузки.
Бормоча, выкатывая орбиты,
мы превращаемся в будущие моллюски,
но никто нас не слышит, точно мы трилобиты.
Дует из коридора, скважин, квадратных окон.
Поверни выключатель, свернись в калачик.
Позвоночник чтит вечность. Не то что локон.
Утром уже не встать с карачек.

УІІ

В стратосфере, всеми забыта, сучка
лает, глядя в иллюминатор.
"Шарик! Шарик! Прием. Я – Жучка".
Шарик внизу, и на нем экватор.
Как ошейник. Склоны, поля, овраги
повторяют своей белизною скулы.
Краска стыда вся ушла на флаги.

И в занесенной подклети кури
тоже, вздрагивая от побудки,
кладут непорочного цвета яйца.
Если что-то чернеет, то только буквы.
Как следы уцелевшего чудом зайца.

1980.

К УРАНИИ

И.К.

У всего есть предел: в том числе, у печали.
Взгляд застrevает в окне, точно лист – в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.
Так дромадер нюхает, морщась, рельсы.
Цустота раздвигается, как портьера.
Да и что вообще есть пространство, если
не отсутствие в каждой точке тела?
Оттого-то Урания старше Клио.
Днем, и при свете слепых коптилок,
видишь: она ничего не скрыла
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо – город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть, к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше-плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.

ИЗ ЦИКЛА: ЖИЗНЬ В РАССЕЯННОМ СВЕТЕ.

• • •

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнивших волны гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я выпустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

24 мая 1980 г.

xxxxxxxx